

О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И ДВУЯЗЫЧИИ БУРЯТ

Тематизация модернизационного процесса для этнических меньшинств, все еще находящихся на стыке двух эпох – традиции и современности, – носит главным образом негативный смысл: культурные утраты заслонили от критического взгляда положительные стороны переживаемой модернизации, обесценили ее цели, ценности и достижения. Их позиция скорее диктуется сослагательным предположением возможности более мягкой, более гуманной и терпимой формы модернизации. Более того, в этой критической оценке присутствует и неизбежный мотив межэтнического и межцивилизационного конфликта между модернизаторами и модернизируемыми, а нередко и обвинение в сознательной политике денационализации национальных меньшинств. Словом, в концептуализации этой формы насильственной модернизации насилье приобрело гораздо более значимый смысл, чем смысл самой модернизации. В этом типе концептуализации феномена модернизации последний представляет собой еще одно поле столкновения и противостояния культур и народов. Очевидно, что представленная концептуализация данного процесса не исчерпывает его содержания и не адекватна его сложности.

Модернизация для бурят, как и для прочих этнических меньшинств России, представляла собой внешний процесс, т.е. его источник находился за пределами их традиционного общества. Этот процесс был инициирован царским правительством в начале XX в. Прежде всего, реформа коснулась административной системы: несмотря на активное сопротивление буряг, вместо степных дум были введены уездные и волостные управы. После чего буряты фак-

тически утрачивали возможность автономного образа жизни и попадали в зависимость от массы русских крестьян, чьи интересы при принятии важных решений уже не зависели от мнения бурятской части населения волости. Кроме того, в результате земельной реформы резко сократились возможности ведения скотоводческого хозяйства в пользу земледельческого. В годы Советской власти негативная трансформация традиционной жизни степняков многократно ужесточилась и радикализировалась. Однако эта негативность трансформации для традиционного уклада не означала негативности для живущих им людей. Достаточно обратиться к документальным свидетельствам отчаянного убожества, бедственности и бесперспективности жизни бурятских простолюдинов в условиях разложения традиционного общества в конце XIX – начале XX вв., чтобы понять энтузиазм, а нередко и максимализм суждений и поступков, с которым активная часть общества встретила революционные события и включилась в этот процесс фундаментального преобразования.

Для бурят модернизация означала не просто смену старого новым – этот процесс неизбежно касался культурного различия (восток – запад, буряты – русские), и обновление в таких условиях, конечно же, сталкивалось с вопросом о мере, соотношении культурных компонентов. Решался этот вопрос в условиях смены политической системы, в условиях политического террора государства над своими гражданами. Другими словами, реализация данной модернизации помимо проблем социетального характера осложнялась политической борьбой. В советской действительности это означало, что различие взглядов, позиций, подходов к тем или иным проблемам, различие, естественное для такого сложного процесса, интерпретировалось как элемент политической борьбы – «иное мнение» квалифицировалось как политическое инакомыслие. В целом, можно сказать, что таким образом внутренняя социокультурная противоречивость модернизации игнорировалась в пользу технической и экономической однозначности. Впрочем, это вполне отвечало природе «догоняющей» модернизации, т.е. модернизации, во многом подчиненной задачам милитаризации, военной и экономической конкуренции со странами, определяющими мировую конъюнктуру, а также решающей эти задачи в жестком временном режиме.

Организация управления, образования, культурно-просветительной работы среди массы сельских жителей БМАССР неизбежно касалась вопроса о языке, точнее, о конструировании литературного языка – унифицированного языка делопроизводства, преподавания, профессионального искусства. Феномен национального, в данном случае, значим не только в языковом проявлении, но и в самом процессе обсуждения этого важного вопроса. Мало кто из плеяды бурятской интеллигенции того времени остался в стороне и не высказал своего отношения. Выбор диалектной основы национального языка и алфавита для письма вызвал бурное обсуждение. Но если среди бурятской интеллигенции решающее значение имела перспектива автономного культурного развития народа, то соображения центра преследовали главным образом политические и геополитические цели – существование и развитие бурятской общности должно было отвечать задачам укрепления «социалистической государственности». В результате бурятский язык в течение 30-х гг. дважды претерпел изменения: хоринский диалект окончательно заменил селенгинский, а кириллица заменила латиницу. Сторонники же старомонгольской письменности подверглись репрессиям.

Сегодня современные исследователи, обсуждая последствия той языковой реформы, рассматривают ее как причину нынешнего кризисного состояния бурятского языка. При этом на оценку значения реформы как неадаптивной часто оказывает влияние оценка политической ситуации того времени и авторитарности способа принятия решения по данному вопросу. Несмотря на трагичность событий и человеческих судеб, связанных с этой реформой, значение ее последствий, на наш взгляд, все же преувеличивается. Несравнимо более значима для судеб языка была социокультурная трансформация бурятского общества. Во-первых, практическая значимость русского языка для спасительной для бурят модернизации обуславливалась тем, что она предполагала наличие в обществе достаточных ресурсов (технических, методических, кадровых и пр.) или, другими словами, предполагала наличие модернизационной «машины». Значимость решения витальных задач, задач выживания расходилась с задачами сохранения, обеспечения культурной автономии бурят. Давление первых и обуславливала непоследовательность, половинчатость решения вторых. Каким бы

значимым не был культурный потенциал, заключенный в старомонгольском письменном наследии бурят, его социальная функциональность и продуктивность жестко ограничивались социальным порядком традиционного общества. Ведь это наследие было достоянием лишь узкого круга образованной элиты, и практически не транслировалось на остальную часть общества. Какими бы талантливыми в своей области деятельности и знания не были первые бурятские интеллигенты, их энтузиазма и возможностей было недостаточно даже для элементарного просвещения массы простых людей, не говоря уже о более сложных ресурсоемких проектах их жизнеобеспечения. Поэтому в данном случае все решало внедрение государства в традиционную жизнь степняков, мобилизация им массы специалистов (а это, разумеется, русскоязычная масса) и других необходимых ресурсов для скорейшего решения остро стоящих жизненных вопросов.

Интеграция в российские образовательные и культурные системы отвечала интересам, как отдельных людей, так и бурятского общества в целом, что неизбежно было сопряжено с непредсказуемыми для бурятского языка последствиями. В дальнейшем мы и наблюдаем перипетии его функционирования в связи с различием в уровнях развитости русского и бурятского языков. Более того, русский язык, благодаря его социокультурной роли в бурятском обществе с его диалектной пестротой, фактически стал выполнять функцию национального языка, языка общения разнодиалектных бурят. Во многом поэтому попытки обсуждать, пересматривать тот или иной бурятский диалект в качестве национального, выглядят искусственными и практически бесперспективными. Такова была историческая цена выживания бурят, историческая цена модернизации общества, нуждавшегося в активном углублении интеграции в российское государство.

Во-вторых, для стремительного распространения русского языка среди бурятского населения в тот период начальной модернизации большое значение имела индивидуальная предрасположенность: модернизация для части бурят в данном случае проявляла себя как возможность социальной мобильности, и русский язык для этого представлял собой необходимый ресурс.

Для длительного или постоянного пребывания бурят в городе имелось достаточно жесткое ограничение культурного характера.

В силу этого обстоятельства процесс массовой урбанизации на начальном этапе предполагал наличие определенных ниш и каналов. Такие ниши и каналы представляли собой: по возрастному параметру – молодежь, по деятельностному – образование, управление и культура. Этот внутриэтнический сегмент имел решающее значение для процесса социокультурной модернизации бурят в целом, поскольку в силу характера деятельности и возраста он был наиболее мобильным, коммуникативным и влиятельным. По существу это было то самое ядро, которое создавало вокруг себя поле притяжения для тех, кто был наиболее чувствительным к духу обновления, духу модерности и в то же время все еще находился на территории традиционности (общности, хозяйства, культуры).

Резкий скачок уровня социальной и пространственной мобильности населения, связанный с началом модернизации, сопряжен с появлением новых явлений социокультурного свойства. Так, например, образцы и нормы поведения и мышления, отличающиеся от господствующих в данном обществе форм, под их влиянием либо маргинализируются, либо ассимилируются. Ассимиляционные формы всегда представляют собой более или менее удачный синтез тех и других. Немецкий философ Н.Элиас, описывая процесс цивилизации в аспекте взаимоотношений социальных слоев, выявляет основания и особенности распространения образцов поведения от небольших замкнутых кругов к более широким. «На первой фазе ассимиляции, – пишет Элиас, – многие индивиды поднимающегося слоя еще во многом зависимы от людей высшего слоя – не только социально, но также в своем поведении, в своих идеях и идеалах. Часто, если не всегда, они не обладают некоей стабильной формой, какова присуща людям высшего слоя, и это побуждает их заимствовать у высшего слоя способ регулирования аффектов, кодекс поведения и систему запретов в попытках подчинить им свои собственные аффекты»¹. Подобный процесс ассимиляции культурно оригинальных форм мы наблюдаем и в нашем случае.

В этом отношении интересна деятельность и история Бурятского драматического театра, где был сосредоточен опыт актерской и режиссерской работы. Этот опыт только что образованного национального театра по существу моделирует процесс культурно-антропологической и психологической трансформации человека

традиционной культуры в условиях города. Кроме того, этот опыт показывает, что основным механизмом этой трансформации является подражание, заимствование. Но, если в обычной жизни с ее практическими задачами подражание часто является достаточным основанием для их реализации, то в сфере искусства оно является признаком профессиональной незрелости.

Надо сказать, что театр, а точнее, его самодеятельный прообраз был очень популярной формой развлечения бурят, и, практически, в каждом более-менее крупном бурятском поселении (улусе) был свой любительский театр. Поэтому, учитывая значение этого института, которое ему придавалось среди массы простых бурят, появление профессионального театра как инструмента культурной трансформации населения – факт, безусловно, достойный внимания. Работа актеров и режиссеров – культурантропологическая по преимуществу – предполагала активное само моделирование человека по определенному инокультурному образцу, вживание людей в инокультурную ситуацию. По своей интенсивности, по степени своего влияния на аудиторию, по своей роли в процессе социокультурной трансформации бурятского общества эту работу трудно сопоставить с чем-то иным.

Кроме того, становление национального театра, проблемы его повседневной работы дают исследователю социокультурной модернизации возможность в укрупненном масштабе и в кристаллизованном виде увидеть явления, хотя и широко распространенные во всем пространстве социальных практик, но тем не менее скрытые и неочевидные в своих естественных синкретичных формах проявления.

Начало профессиональной театральной деятельности в Бурятии связывается с образованием в 1928 г. Бурят-монгольской национальной театральной студии, позднее преобразованной (1931г.) в Техникум искусств. Перипетии обретения актерского профессионализма первыми студийцами нашли свое отражение в книге бурятского театроведа В. П. Муруевой. Банальная ситуация обучения актеров с характерными ученическими проблемами в свете социокультурного прочтения приобретает уникальное содержание; она фокусирует социокультурную модернизацию на уровень онтологии конкретного человека. Подготовка актеров предполагала в учениках «прежде всего владение своим телом, голосом, и их со-

четание с внутренней свободой сценического поведения»². На практике же выразительность пластики и речи, музыкальность и ритмичность, которыми актеры были наделены природой или приобретались ими в актерской школе, «не сочетались с органичностью жизни на сцене, с искусством переживания и перевоплощения, с правдой «жизни человеческого духа»³. В результате, «стихийное, неосознанное стремление к реализму, к жизненной правде часто сводилось к простому жизнеподобию на сцене»⁴. (Эта проблема будет актуальной для коллектива театра вплоть до 60-х гг.). Очевидно, для театроведа вполне естественно было интерпретировать эту ситуацию как недостаток мастерства, профессионализма актеров. Или, как в другом случае, актерскую неудачу она объясняет объективными причинами: «Здесь была определенная трудность, ибо новые люди в самой жизни только формировались, шел процесс их становления и утверждения. Естественно, что их сценическое воплощение было предельно обобщенным или внешне натуралистическим, лишенным индивидуальных человеческих черт. Это были не живые характеры, а однозначные схемы»⁵.

То, что осталось за пределами театроведческого дискурса – конфликтный характер межкультурного взаимодействия, выразившийся в культурно-антропологической раздвоенности тела и духа – имеет отношение уже не столько к актерской профессии, сколько к человеку, его культурной укорененности. «Жизнь человеческого духа», как продукт рефлексивной работы, является органичным элементом развитой городской культуры, а в редуцированной форме – элементом менталитета рядового горожанина. Человек, генетически укорененный в структурах традиционного мира, и при этом обученный техникам тела и профессионально им владеющий, сталкивается здесь с непроницаемостью духа, с непроницаемостью культуры. И то, что для стороннего взгляда выглядит как работа актера над своим профессиональным мастерством, по сути, является драматической попыткой прыгнуть выше своей головы – традиционной головы, поскольку то, что на профессиональном театральном жаргоне называется «психофизическим аппаратом» – основа сценической органики – на самом деле предполагает онтологическое единство актеров и драматургического материала. И это онтологическое единство, а вместе с ним и сцени-

ческая органика формируются в опыте реальной жизни, а не в учебных аудиториях.

Н. Элиас на своем материале и в своем исследовательском поле формулирует то, что удивительно точно соответствует социокультурным особенностям процесса модернизации бурят. Это связано с ассимиляционной трансформацией, выпавшей на долю первого поколения людей, которому, по его мнению, как правило, полностью ассимилироваться в течение своей жизни не удастся. «Полуобразованность, необоснованная претенциозность, неуверенность в своем поведении, отсутствие вкуса, проявления «китча» не только в случае мебели или платья, но и в человеческих душах. Все это связано с попыткой имитации моделей другой, более высокой по рангу социальной группы. Такая имитация не удается – чуждость модели дает о себе знать. ... попытки достичь уверенности и гармонии по схемам высшего слоя для большинства представителей поднимающихся низов заканчиваются фальшью и бесформенностью поведения»⁶.

Когда В. П. Муруева пишет о том, что будущие актеры «учились искусству трансформации, легкости, гибкости, умению ориентироваться на сцене в любой ситуации»⁷, невольно ловишь себя на мысли, что в этой формулировке частно-профессиональных задач проговариваются ключевые характеристики современного человека и задачи адаптации традиционного человека к условиям высококомобильного современного общества. Соответственно, проблемы и неудачи бурятского актерского творчества моделируют проблемы и неудачи в социокультурной адаптации бурят к новой для них реальности городской жизни. Ну, а такое аналитическое свидетельство, как «не ощущая своего героя как живого, достоверного человека, бурятские актеры в ролях положительных персонажей порой впадали в изображенчество, ложную патетику и высипренность»⁸, показывает то, как неорганично и неуверенно чувствует и ведет себя человек в чужом для себя обществе, и особенно в идеологически напряженном обществе, где власть вменяет гражданам в обязанность демонстративную лояльность к себе.

Во второй половине 50-х гг. критики начинают говорить о качественном изменении работы бурятского театра или, во всяком случае, о тенденции его художественного роста. Делалось это в характерных терминах: «В стилистике актерского исполнения на-

чинают появляться новые качества – углубление психологизма, стремление к сдержанному выражению чувств»⁹, «артист Халматов уходит от бытовавшей до сих пор на бурятской сцене излишне прямолинейной трактовки современного героя. ... открывает в своем герое психолога»¹⁰, «принципиальная новизна этого образа для бурятской сцены была в том, что казалось бы, традиционный характерный персонаж приобрел психологическую емкость... Генинов своим исполнением не обличал, а ставил цель – раскрыть внутреннюю эволюцию образа»¹¹, «внешняя простота, отсутствие всяких эффектов сочетались у актрисы с глубиной переживаний, с внутренним драматизмом. Эта стилизованная манера делала искусство актрисы по-настоящему современным»¹².

Разумеется, за этим качественным ростом театра стоит более чем двадцатилетняя интенсивная работа его актеров над своим мастерством. Но, точно так же этот рост фундаментализировался и на их опыте проживания в городе, в поездках в Москву, Ленинград и др. города СССР. Даже налаженный городской быт имел значение для непрерывного пребывания их в поле культурного напряжения: освобожденный от бытовых проблем «психофизический аппарат» актеров постепенно погружался в толщу городского, относительно благополучного бытия, обретал «онтологическое единство» с новыми для себя реалиями. «Подобно тому, как меняются поведение и психическая организация индивида, изменяется и присущий ему способ наблюдения за другими людьми. Образ другого человека приобретает более богатые оттенки, его оценка становится более свободной от сиюминутных эмоций – происходит «психологизация». Там же, где строение общества позволяет индивиду действовать под влиянием мимолетных импульсов, не возникает и вопроса о сознании другого человека: там нет нужды учитывать его аффекты, отыскивать скрытые мотивы его поведения»¹³.

И все же, несмотря на это качественное продвижение театрального творчества, весьма симптоматично звучит критическое замечание по поводу исполнения роли Чацкого ведущим актером театра Халматовым: «Этому Чацкому не хватало широты и глубины мысли... еще недостаточно интеллектуален»¹⁴. Постигание чужой культуры – процесс постепенный. Прежде всего, поддается этому подобное, узнаваемое, имеющее аналог. Можно быть убедительным в изображении влюбленности, печали, гнева или растерянно-

сти – все эти человеческие состояния именно такого рода. Интеллект же благодаря своему функциональному назначению как ничто другое содержит в себе социальные и культурные особенности, а значит, как ничто другое требует социокультурной соразмерности.

Не хватало «широты и глубины мысли» в целом национальной драматургии. Этот творческий жанр еще более явно обнаруживал проблему совместимости традиционности и модерности, соответствие эмоционального и интеллектуального строя традиционного и модернового обществ.

Начало процесса социокультурной модернизации бурят на территории Бурятской республики однозначно связано с началом строительства крупных промышленных объектов в г. Улан-Удэ (ПВЗ, Стеклозавод, Мясохлагокомбинат, Мелькомбинат и др.), куда были привлечены, в том числе, и несколько тысяч бурят. Вчерашние сельчане становились рабочими, приобретали разные специальности, связанные с индустриальным трудом. О том, что этот процесс сталкивался с препятствиями культурного характера свидетельствует документ 1928 г. «Докладная записка ЦИК БАМССР», где отмечается, что «несмотря на то, что принимаются все меры к вовлечению бурят на предприятия, бурят на заводах нет. Буряты же, которых удавалось привлечь на работу в промпредприятия, вскоре же уходили оттуда. ... работники буряты не задерживаются на одной работе»¹⁵. Объяснялось это тем, что «буряты, выросшие в степях, не могут переносить тяжелых условий, в которых приходится работать на этих предприятиях»¹⁶.

Этот факт свидетельствует о том, что между технической и экономической модернизацией, с одной стороны, и социокультурной, с другой стороны, существует временной зазор. Для начального этапа социокультурной модернизации бурят характерно то, что жизнь традиционного общества в глазах его членов утрачивала былую самодостаточность, а город как альтернатива приобретал черты вполне реальной перспективы. По мере того, как в селах развивались сети медицинского, образовательного, культурного, бытового, информационного и т.д. обслуживания и становились нормой их жизни, для жителей становилось все более очевидным потребительское превосходство города. В глубинах их сознания понятие жизни становилось измеримым и соизмеримым, актуаль-

ным становились такие ее параметры, как уровень и качество. А это собственно и составляет начало и основу рационального отношения человека к своей жизни. Жизнь перестает быть заложницей всеохватной и цепкой традиции, исключавшей возможность выбора и проявления индивидуальности.

Для ситуации переходности, сосуществования традиции и модерна характерна социокультурная гетерогенность. При этом если до начала массового освоения города буряты находились в своем естественном состоянии гомогенности, то с включением города в их ареал обитания она оставалась уделом только сельских жителей. Те же, кто переезжал в город, изначально должны были соответствовать минимальным требованиям иной социокультурной ситуации, т.е. быть более универсальными. Далеко не все отвечали этому условию, и подавляющему большинству еще только предстояло выработать в себе необходимые качества. В этих обстоятельствах в их распоряжении был естественный механизм адаптации, когда недостатки индивидуальной универсальности, а также связанные с этим возможные риски компенсировались эффективностью групповой стратегии и привлекаемых ресурсов.

Начальный этап массового освоения города сельскими бурятами, достигшими зрелого возраста, не знал альтернативы коллективистским, родовым моделям поведения. Каждый частный опыт освоения новых обстоятельств становился функциональной частью коллективного опыта, каждый частный успех становился коллективным достоянием, образуя сеть поддерживающих друг друга отношений. Эта ситуация с относительным равенством позиций, возможностей и обязательств членов группы была тесно связана с традиционной социальностью, с ее этосом взаимопомощи, родовыми авторитетами, ощущением незыблемости родственных уз и сохранялась в течение одного-двух поколений. Поведение членов группы во многом регламентировалось родовыми авторитетами (старейшими членами рода); индивидуальные интересы, если и не во всем были подчинены интересам групповым, то, по крайней мере, не шли с ними вразрез. Эту ситуацию четко отражает языковое поведение членов рода: общение (а в структуралистских терминах – функционирование) в родственных сетях происходило исключительно на родном языке. И хотя среди взрослых членов рода были владеющие двумя языками, первичная

функциональность родного языка определялась тем, что более старшее поколение было, как правило, моноязычным (представителям этого поколения незачем была такая языковая гибкость). Кроме того, для начального этапа освоения города характерно то, что оставшиеся в деревне родители и близкие родственники своей традиционной хозяйственной деятельностью все еще составляли экономическую основу жизни тех, кто включился в процесс урбанизации. Узы взаимопомощи и эмоциональная близость, актуализированные на первых этапах освоения нового образа жизни, культуры, языка, нового социального и этнического окружения, т.е. на этапах наиболее высокой степени тревожности и риска, отличает максимальная интенсивность.

В дальнейшем с неизбежной интеграцией в иные, внеродовые (профессиональные, территориальные и пр.) сети социальных отношений и с обретением экономической самостоятельности для новых горожан необходимость придерживаться коллективной или адаптивной стратегии (модели) постепенно изживает себя; жизненные программы индивидуумов все меньше полагаются на родовые ресурсы и все больше корректируются в сторону индивидуальных интересов, способностей и усилий. В этой жизненной прагматике, в этом сдвиге моделей самоутверждения значение и характер функционирования родного языка не могли оставаться прежними. С включением людей во внеродовые сети, где доминировал русский язык, с изживанием ощущения своей чужеродности в этом новом социокультурном пространстве первичность владения доминирующим языком становилась естественным явлением, в то время как родной язык, насыщаясь экзистенциальным значением, сопровождал течение домашней (частной) жизни.

Несмотря на то, что для одних привлечение родовых ресурсов в стратегию и планы индивидуального жизнеустройства по-прежнему сохраняет актуальность, оставляя до поры до времени возможность одностороннего пользования, для других это становится неоправданно обременительным – груз обязательств перед группой не всегда удается сочетать органично и бесконфликтно с нарастающей индивидуализацией. Этот момент проблематизации традиционных связей выпадает главным образом на поколение, чья ранняя социализация произошла в условиях города, в условиях расширенного горизонта социальных связей. Интегрированные в

эти условия с раннего детства они без особых проблем сочетали в себе бикультурность и двуязычие. Соответственно, для решения задач дальнейшего жизнеутверждения в родовых ресурсах они нуждались уже в гораздо меньшей степени; по мере освоения жизненного пространства в современном обществе, по мере роста их способностей, релевантных ему, актуальность в привлечении такого рода ресурсов неизбежно уменьшается.

Разумеется, отношения с родственниками и соплеменниками поддерживались, но их значимость в образовавшейся конфигурации социальных отношений приобретала характер относительности. Другими словами, на смену тотальности и относительной равномерности родовых связей пришли более или менее жесткая избирательность и сегментарность, на смену «механической солидарности» пришла «органическая солидарность» малой формы. Эта смена социальных моделей обуславливается тем, что с упрощением или рутинизацией решения задач выживания в условиях социального государства они становятся все более частными, не требующими коллективных усилий. Тотальность же приобрела новый модус существования: утрачивая витальную значимость, она сохранила и даже увеличила свою ценность в ритуальной ипостаси, отвечая на экзистенциальные запросы современных людей. Как правило, она (тотальность) сопровождается фольклорным творчеством, клубным общением (землячеством), пересечением жизненных судеб. И это нисколько не меняет ее ритуальной сути в новых условиях, а скорее подтверждает ее непреходящую самоценность и экзистенциальную притягательность.

Таким образом, в своей статье мы пытались высветить отдельные аспекты многогранного процесса социокультурной модернизации бурят в условиях полиэтничного города Улан-Удэ. В частности, для нас был важен тезис о том, насколько жизненно необходима была модернизация, настолько неслучайны были социокультурные мутации бурятского общества и культуры, а также сложившийся баланс элементов традиционной и индустриальной культур. При этом надо отметить, что этот баланс сегодня достаточно продуктивен в практике культурного возрождения – практике постмодернистской по своей сути.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, № 02-01-00263а.

¹ Элиас. Н. О процессе цивилизации. Социогенетические психогенетические исследования. Том 2. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.С. 309.

² Муруева В.П. Традиции и новаторство в бурятском актерском искусстве. - Улан-Удэ: Бурят. кн. Изд-во, 1983. С.34.

³ Там же, С.35.

⁴ Там же, С.35

⁵ Там же, С.39.

⁶ Элиас, Н. Там же, С.309.

⁷ Муруева В.П. Там же, С.37.

⁸ Там же, С.40.

⁹ Там же, С.51.

¹⁰ Там же, С.52.

¹¹ Там же.

¹² Там же, С.59.

¹³ Элиас Н. Там же, С.276.

¹⁴ Муруева В.П. Там же., С.57.

¹⁵ Культурное строительство в Бурятской АССР (1917-1981). Документы и материалы. Улан-Удэ: Бурят. кн. Изд-во, 1983. С.114.

¹⁶ Там же.